

Ромен Гари

Ночь будет спокойной

Romain Gary
La nuit sera calme

Ромен Гари

Ночь будет спокойной

Перевод с французского
Ларисы Бондаренко
и Александра Фарафонова



издательство **астрель**

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44
Г20

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Издание осуществлено при техническом содействии ИЗДАТЕЛЬСТВА АСТ

Гари, Р.

Г20 Ночь будет спокойной / РОМЕН ГАРИ ; пер. с франц. Л. БОНДАРЕНКО,
А. ФАРАФОНОВА. — М.: Астрель : CORPUS, 2011. — 480 с.

ISBN 978-5-271-36950-6 (ООО "Издательство Астрель")

“Ночь будет спокойной” — уникальное псевдоинтервью, исповедь одного из самых читаемых сегодня мировых классиков. Военный летчик, дипломат, герой Второй мировой, командор ордена Почетного легиона, Ромен Гари — единственный французский писатель, получивший Гонкуровскую премию дважды: первый раз под фамилией Гари за роман “Корни неба”, второй — за книгу “Вся жизнь впереди” как начинающий литератор Эмиль Ажар. Великий мистификатор, всю жизнь писавший под псевдонимами (настоящее имя Гари — Роман Касев), решает на пороге шестидесятилетия “раскрыться” перед читателями в откровенной беседе с другом и однокашником Франсуа Бонди. Однако и это очередная мистификация: Гари является автором не только собственных ответов, но и вопросов собеседника, Франсуа Бонди лишь дал разрешение на использование своего имени. Подвергая себя допросу с пристрастием, Гари рассказывает о самых важных этапах своей жизни, о позиции, избранной им в политической круговерти XX века, о закулисной дипломатической кухне, о матери, о творчестве, о любви. И многие его высказывания воспринимаются сегодня как пророчества.

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-271-36950-6 (ООО "Издательство Астрель")

- © Editions Gallimard, Paris, 1980
- © Л. Бондаренко, А. Фарафонов, перевод на русский язык, 2004
- © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2011
- © ООО “Издательство Астрель”, 2011
- Издательство CORPUS ®

Ночь будет спокойной

Франсуа Бонди. *Мы знакомы уже сорок пять лет...*

Ромен Гари. Лицей в Ницце, два года до выпуска...

Октябрь, начало занятий. В классе “новенький”, и преподаватель спрашивает у него место рождения. Тут встаешь ты с физиономией Ибн Сауда¹ во младенчестве и, уже неся на своих плечах бремя веков, в пятнадцать-то лет, говоришь “Берлин” и закатываешься в нервном безудержном смехе перед этим классом, в котором тридцать юных французов... Мы сразу же прониклись симпатией друг к другу.

¹ *Ибн Сауд* (Абдель-Азиз ибн Сауд, 1880–1953) — король Саудовской Аравии (1932–1953 гг.). (Здесь и далее прим. перев.)

Ф.Б. *У тебя всегда была поразительная память, ты никогда ничего не забывал, а это, должно быть, нелегко...*

Р.Г. На то я и писатель.

Ф.Б. *Почему ты сейчас согласился раскрыться в нашей беседе, ведь в жизни ты очень замкнут?*

Р.Г. Потому что в жизни я очень замкнут... И не чувствую уколов самолюбия при мысли о том, чтобы открыться кому-то — мне очень нравится этот “кто-то”, мы с ним давно друг друга знаем, — как и о том, чтобы открыться “публике”, потому что мое “я” вовсе не при-
нуждает меня к почтительному отношению к самому себе, совсем наоборот. Есть эксгибиционизм, и есть жертва огню. Читатель сам решит, идет ли речь об эксгибиционизме или о горении. Гари означает по-русски “Гори!”, в повелительном наклонении, есть даже старая цыганская песня, где это слово служит припевом...¹ Это приказ, от исполнения которого я никогда не уклонялся, ни в писательстве, ни в

1 По всей видимости, имеется в виду романс “Гори, гори, моя звезда”.

жизни. Мне хочется здесь этого жара, чтобы мое “я” горело, чтобы оно пылало на этих страницах, как говорится, на глазах у всех. “Я” вызывает у меня смех, это великий комик, вот почему народный смех часто бывает началом пожара. “Я” — невероятно претенциозно. Оно не знает даже, что с ним случится через десять минут, но трагически принимает себя всерьез, строит из себя Гамлета, рассуждает, требует ответов от вечности и даже имеет довольно странную дерзость писать произведения Шекспира. Если тебе интересно, какое место занимает насмешка в моем творчестве — да и в моей жизни, — ты должен сказать себе, что это сведение счетов с нашим общим “я”, с его неслыханными претензиями и эггической влюбленностью в себя. Смех, издевка, осмеяние — это мероприятия по промывке, по расчистке, они подготавливают грядущее оздоровление. Сам источник народного смеха и комического вообще — это та булавка, что прокалывает раздувшийся от важности шар, коим является наше “я”. Это Арлекин, Чаплин, все “облегчители” этого “я”. Комическое — это призыв к смирению. “Я” вечно прилюдно теряет штаны. Условности и пред-

рассудки стараются прикрыть голый зад человека, и в конечном счете мы забываем про свою природную наготу. Так что я готов “раскрыться”, как ты говоришь, не краснея. На то есть и другие причины. Во-первых, мой сын еще слишком мал для того, чтобы мы с ним могли по-настоящему встретиться и я мог ему все это рассказать. А когда он окажется в состоянии понять, меня здесь уже не будет. Меня это страшно допекает. Страшно. Мне бы хотелось поговорить с ним обо всем этом, когда он окажется в состоянии понять, но меня уже здесь не будет. Это технически невозможно. Вот я и обращаюсь к нему сейчас. Он прочтет со временем. И потом, есть, в конце концов, такая вещь, как дружба. Я ощущаю, что окружен невероятным количеством друзей, в это трудно поверить... Люди, с которыми я даже не знаком... Читатели пишут. Ты получаешь, положим, пять-шесть писем в неделю в течение многих лет, а на одного читателя, который пишет, приходится, возможно, сто, которые думают обо мне, как он, которые думают и чувствуют, как я. Получается колоссальная масса дружбы. Тонны и тонны. Они задают мне всякие вопросы, а я не умею отве-

чать, давать советы, в этом есть что-то менторское, и не могу поговорить с каждым из них отдельно, так что здесь я говорю с ними со всеми... Они больше не станут просить у меня советов после этого, они поймут, что я неспособен дать их самому себе и что, по сути, на главные вопросы ответа нет.

Ф.Б. *Ты ощущаешь обязательства по отношению к своим читателям?*

Р.Г. Никаких. Я не общественно полезная организация. Зато я верен в дружбе... тебе это известно. Но предупреждаю, я не собираюсь говорить *все*, потому что черту, за которой начинается доносительство, я не перехожу. Невозможно до конца “раскрыться” самому, не “раскрывая” при этом других, тех, чьи секреты сыграли какую-то роль в твоей жизни. Я соглашаюсь на “скандальность” в том, что касается меня самого, но я не вправе подставлять других, потому что для меня “скандальность” означает не то же самое, что для них. Еще осталось много людей, для которых скандально то, что естественно. Секс, например. И потом, есть чужие секреты, признания. Лю-

ди, с которыми я едва знаком, доверяются мне с удивительной легкостью. Не знаю, почему они это делают, думаю, потому что понимают, что я не из полиции.

Ф.Б. ?!

Р.Г. Да, они чувствуют, что я не следую параграфам полицейского устава в вопросах морали, не сужу по ханжеским критериям. Мне противна благочестивая ложь во имя морали, я ненавижу фальшивые декорации. Я не считаю, что, закрывая бордели, вы доказываете, что сами не продаетесь. Когда ты обличаешь аборт с высоты своей “морали”, как это делает, например, Коллегия врачей, отлично зная, что миллион женщин ежегодно будет по-прежнему подпольно подвергать себя пыткам, ну что ж! — я говорю, что эта вот “моральная высота” — низость. Это мораль сытых, из той же области, что и христианство без смирения, без жалости, которое не знает про существование комнаты для прислуги. “Жизнь священна” — это прежде всего вопрос: какая дается жизнь, какой шанс? Бывают такие условия, когда “священный характер жизни” — это геноцид... Но мораль полицей-

ского устава слепа, ей плевать, она не вникает, и это мелко-мелко... мелкобуржуазность или мелкомарксизм. Так что я с наиполнейшей свободой буду говорить о себе самом, но не о других. Вот мои причины, вот почему я согласился, и ты можешь вести свой “допрос” как тебе заблагорассудится. Я буду отвечать. И потом, возможно, есть что-то, чего я сам про себя не знаю и что ты мне откроешь, расспрашивая меня. И возможно, это поправимо. Хотя меня бы это удивило. Так что давай.

Ф.Б. *В тебе слились писатель и мировая “звезда”, человек и фигура. Эти два Ромена Гари хорошо уживаются друг с другом?*

Р.Г. Нет, очень плохо. Они друг друга ненавидят, делают друг другу гадости, ссорятся, врут, строят друг другу козни и по-настоящему пришли к согласию лишь однажды, как раз по поводу этих бесед, надеясь помириться... Да, вот и еще одна причина. Хорошо, что ты напомнил мне об этом.

Ф.Б. *Все читатели “Обещания на рассвете” знают, что тебя воспитала необыкновенная мать...*

Р.Г. Она стала “необыкновенной”, потому что “Обещание на рассвете” вызволило ее из забвения, в которое канут все матери, и “познакомил с ней публику”. Существует видимо-невидимо “невероятных” матерей, о которых никто не помнит, потому что их сыновья не смогли написать “Обещание на рассвете”, вот и все. Во тьме веков полно восхитительных неизвестных, неведомых матерей, абсолютно не осознающих свое величие, как не осознавала и моя. Матерей, растящих своих детей в куда более невыносимых условиях, чем те, в которых билась она. Матерей надрывающихся, старина, и надорвавшихся. Я смог спасти от забвения одну, и всего-то. Правда, она была исключительна в силу своего блеска, колоритности, яркости — но не в силу любви, понимаешь, не в силу любви, она была в лидирующей группе, вот и все. Знаешь, матерям никогда не воздают по заслугам. Моя, по крайней мере, получила книгу.

Ф.Б. *Я хорошо ее знал. Я часто приходил в отель-пансион “Мермон” в Ницце, когда мы с тобой были еще подростками, и я даже жил там. Так что я один из редких свидетелей, которые мо-*

гут сказать: да, все именно так, она была такой, какой ты ее описал в “Обещании на рассвете”, восхитительной и полной безумной любви, но мне кажется, ты недостаточно показал, как, наверно, трудно было мальчишке с ней жить... Она была властной, вспыльчивой, восторженно-мечтательной и экстравагантной... Уверен ли ты, что в тебе, в твоей жизни не оставили следов те травмы, которые наносят “деспотичные матери”?..

- Р.Г. Ни мать, ни сына, ни мужчину не делают по учебникам психологии, жизнь плевать хотела на правила и предписания. Психоанализ — дитя богатых. Не будем забывать, что Эдип был царевичем, и это главное, а Фрейд об этом подзабыл, разве нет? Все это происходило во дворцах... Единственное, что я видел в своей матери, — любовь. Это примиряло со всем остальным — так же было и со всеми другими женщинами... Меня сформировал полный любви взор женщины. Поэтому я любил женщин. Не чересчур, потому что любить их достаточно нельзя. Совершенно ясно: я всю жизнь искал женственность. Без этого нет мужчины. Если это называется нести на себе

отпечаток материнского влияния, согласен — и хочу его еще и еще. Рекомендую и другим. Настоятельно советую. Я даже не ощущаю, что вернул свой долг. Женщин я так и не научился любить, не научился давать, отдавать все, я был слишком скуден, слишком скуден внутри, но я им давал то малое, что у меня оставалось, потому что литература забирала много. Так вот, “деспотичные матери”, которые “лишают мужественности”, эдипов комплекс... мать божья! Если в это верить, то я должен был бы вырасти, по меньшей мере, гомосексуалистом или импотентом, чтобы соответствовать эдиповым сказкам. Этого не случилось. Скажу тебе больше. В детстве, когда мне было двенадцать, я так хотел женщину, что попытался трахнуть калорифер. Радиатор. Он был теплым, и в нем была щель. Засунуть туда член я смог, но вынуть — нет. У меня до сих пор сохранилась отметина. Когда жизненная сила достигает некоего уровня, животное начало сильнее всех учебников. Во мне слишком много от кобеля, от зверя, чтобы у меня могли быть какие-то изысканные проблемы с матерью... Я сразу тебе об этом говорю, потому что мне постоянно тычут в нос “Обещание

на рассвете”, пытаюсь все объяснить. Знаешь, давным-давно где-то во тьме пещер неизбежно происходило кровосмешение, все мы вышли из инцеста. Но я никогда в жизни не испытывал ничего похожего на влечение к матери. Никаких обрывков воспоминаний, ни любопытства, ничего подобного. Я рос без отца, и это меня тоже не подкосило. Ладно, давай поиграем. Предлагаю тебе такую штуку: коль скоро меня вырастила мать — этокое “священное чудовище” — властная, деспотичная, значит, раз я воевал так, как я воевал, то делал это для того, чтобы “освободиться от своей матери через насилие”. Только вот можно сказать и по-другому: что моя мать хорошо меня воспитала, что она сделала из меня мужчину. В действительности “кастрирующие” матери не любят своих детей. Когда есть любовь, все остальное не имеет значения. Я никогда не искал в женщинах мать, но совершенно очевидно, что я всегда предпочитал женщин калориферам, даже самым располагающим. В детстве меня окружала нежность, и поэтому мне необходимо, чтобы вокруг меня была женственность, и я всегда старался развить ту долю женственности, которую носит в себе

каждый мужчина, если он способен любить. Это очевидная истина, и у меня такое смутное чувство, что матери существуют здесь, на земле, как раз для этого — чтобы создать эту потребность, внести эту долю женственности, без которой никогда бы не было цивилизации. Правда, мне это иногда выходило боком, потому что ведь женщины всюду, так что порой есть от чего сойти с ума. Мужчина, который не носит в себе частицу женственности — пусть даже это выражается в ощущении ее острой нехватки, как абстинентный синдром у наркоманов, — тоски по женственности, это недоросль. Первое, что приходит на ум, когда произносится слово “цивилизация”, это некая мягкость, некая материнская нежность...

Ф.Б. *В 1945 году, ты, еще летчик в чине капитана, публикуешь свой первый роман “Европейское воспитание”. У юного героя этой книги нет отца, он погиб в польском Сопротивлении... Два года спустя появляется роман “Большая вешалка”; он прошел почти незамеченным во Франции, но под названием The Company of Men стал твоим первым большим успехом в*

Америке. Герой книги — подросток, чей отец героически погиб во французском Сопротивлении...

Р.Г. Послушай, Франсуа, ты ведь не станешь меня уверять, что сам так думаешь?

Ф.Б. *Я считаю, что нужно об этом поговорить, вот и все. Предположим, что я тебя провоцирую, чтобы дать возможность отреагировать.*

Р.Г. Иными словами, если я примкнул к де Голлю, так это потому, что он явился для меня образом героического отца, которого у меня никогда не было. Так писали, я знаю. Только это не выдерживает никакой критики. Это все дешевые психоаналитические штучки, заклинания. Зачем бы мне было дожидаться двадцати семи лет, чтобы выбрать себе отца, и почему я выбрал де Голля, а не, к примеру, Сталина, который был тогда очень модным папочкой? Я никогда не “выбирал” де Голля. Де Голль сам себя выбрал, он прибыл в Англию за несколько дней до меня, вот и все, я даже не слышал его обращения восемнадцатого июня, и мои с ним отношения

с самого начала были очень непростыми. Из двенадцати раз, что я встречался с де Голлем, по меньшей мере, раза четыре или пять он выстав-
лял меня за дверь. Ему в какой-то мере нрави-
лась моя наглость, потому что она позволяла
ему чувствовать себя человеком толерантным, а
поскольку я был скандалистом, разыгрывал из
себя этакого вояку из старой гвардии, он мог
чувствовать себя Наполеоном. Я безгранично
восхищался де Голлем и при этом непрерывно
испытывал раздражение. В моем представле-
нии де Голль — это слабость, говорящая “нет”
силе, в Лондоне он был совершенно одинок в
своей абсолютной слабости, человек, говоря-
щий “нет” самым крупным мировым державам,
“нет” — разгрому, “нет” — капитуляции. Я ви-
дел в этом само положение человека в мире, сам
удел человеческий, и отказ капитулировать —
по сути, единственная форма достоинства, ка-
кая нам остается. Де Голль в июне 1940 года —
это Солженицын. Но мой первый опыт обще-
ния с ним был кошмарным. Первые “свобод-

1 “Свободная Франция” — движение за освобождение Франции от оккупантов во время Второй мировой войны, сложившееся летом 1940 г. по призыву генерала де Голля. С 1942 г. — “Сражающаяся Франция”.

ные французы”¹, прибывшие в Лондон в июне 1940 года, — это были парни, с которых будто живьем кожу содрали, и они хотели только одного: драться. Де Голль в то время не значил для нас ничего, мы его не знали и вообще знать ничего не хотели, нам надо было сражаться. Однако вскоре началась политика, пошли махинации. Нас не пускали в английские эскадрильи, не хотели, чтобы нас поубивали поодиночке среди англичан, хотели подождать, пока с бору по сосенке наберется достаточно народу, чтобы сформировать французские части, французские эскадрильи. Был там один штабной офицер из Свободных французских военно-воздушных сил — в них и собралось-то человек сто, и лишь половина прошла подготовку, — которого звали майор Шенвье. Уж не знаю, по какой причине, но он стал для нас козлом отпущения, мы были убеждены, что это он мешает нам вступать в эскадрильи Королевских военно-воздушных сил. Мы держим совет и решаем его убрать: все это было весьма в духе ОАС¹. Ликвидацию поручили мне — я уже тогда вну-

1 ОАС — ультраправая террористическая организация, созданная в 1961 г., ставившая своей целью воспрепятствовать независимости Алжира.

шал доверие. Шенвье приезжает с инспекцией в Одихем, и мы приглашаем его совершить тренировочный полет. Наш бесхитростный план был очень прост: мы поднимаемся в воздух, Ксавье де Ситиво, сидящий за штурвалом, — он и поныне жив, поселился, кажется, в Сен-Тропе — имитирует техническую поломку, я же сзади оглушаю Шенвье, выбрасываю его из самолета, а потом мы говорим, что парень запаниковал, когда забарахлили двигатели, выпрыгнул, а его парашют не раскрылся. Итак, Шенвье садится в самолет, и мы взлетаем. Но видно, у этого типа шевельнулось какое-то предчувствие. Наверное, у меня было такое выражение лица, которое ему не понравилось. Он забрался назад, в стрелковую башню, и когда я, следуя сценарию, принимаюсь тащить его оттуда за ноги, он цепляется, вопит, брыкается... А я тащу его за ноги, в руках у меня остаются его подбитые мехом сапоги, и я гляжу на его голые ступни... И вот эти голые ступни меня полностью деморализовали. Они были голые, совершенно белые, чуток замызганные даже, ужасно незащищенные, человеческие, в общем. У меня мелькнула мысль взять зажигалку и поджарить ему пятки, чтобы вынудить его вылезти, но я не

создан для пыток, как в Алжире. Ничего не подделаешь. Я не смог. Мы сели, Шенвье вернулся в целости и сохранности. Можешь себе представить, сколько мне пришлось давать объяснений: адмиралу Мюзелье, адмиралу Обуано... Я было пытался их убедить, что это обычай такой, боевое крещение в воздухе: с нового командира стягивают обувь, но Шенвье натерпелся такого страха, что требовал для меня расстрела, не меньше. В конце концов мы им сказали, что хотели лишь припугнуть его, потому что он не пускал нас в бой. Нас вызвал де Голль. Со мной там были Букийар, Мушотт, Канеппа, Блез и еще кто-то. И вот я излагаю ему нашу точку зрения... ведь я был лицензиатом права! Я говорю, что невозможно больше ждать, что мы приехали сражаться, что нас во Франции приговорили к смерти как дезертиров, что нужно разрешить нам летать с английскими эскадрильями. Он слушает. У него нервно подергиваются усы, видно, что злится. Затем он встает: "Очень хорошо, отправляйтесь... И главное, не забудьте погибнуть!" Я отдаю ему честь, разворачиваюсь, направляюсь к двери, и тут у старика, похоже, заговорила совесть. Он решил как-то все сгладить. И бросил мне вслед:

“Впрочем, с вами ничего не случится... *Погибают всегда лучшие!*” Иначе говоря, чтобы сгладить, он отвесил мне еще одну словесную оплеуху. Была в нем некоторая доля свинства, этаким способом уколоть, отыграться. Но он оказался прав. Погибли лучшие: Букийар, Мушотт... все. Но наша взяла. Начинаясь Битва за Англию, и французские летчики смогли летать в английских эскадрильях, после чего были сформированы французские эскадрильи... Не понимаю, почему ты заставляешь меня говорить обо всем этом. Это давно умерло.

Ф.Б. *Я тебя не заставлял, ты сам об этом заговорил...*

Р.Г. Ах так.

Ф.Б. *Я вспомнил про “Европейское воспитание” и “Большую вешалку”, чтобы спросить совсем о другом. Когда тебе было шестнадцать—семнадцать лет, тогда, в Ницце, ты сильно рисковал “сбиться с пути”, стать отщепенцем. В тебе ощущалась какая-то ярость, ущемленность и озлобленность... Те, с кем ты тогда дружил — Эдмон Гликсман, Сигюр Норбер,*

ныне представляющий ЮНИСЕФ в странах третьего мира, да и я сам — мы беспокоились и часто тебе об этом говорили, по-моему. И уже в первых твоих книгах, особенно в “Большой вешалке”, в 1949 году, появляются несовершеннолетние правонарушители и говорят от твоего имени, тут невозможно ошибиться. Из всего, что ты написал, именно в Люке из “Большой вешалки” я больше всего узнаю тебя, каким ты был в семнадцать лет... Откуда эта заикленность на несовершеннолетних уголовниках? Не оттого ли, что ты сам чуть было не сорвался, входя во взрослый мир?

Р.Г. Не знаю. Началась война. Быть может, это меня спасло, не знаю. Впрочем, я так боялся того, что кипело внутри меня, что уже собирался записаться в Иностранный легион в 1935 году, но тут пришла бумага о моей натурализации, и я смог выбрать авиацию. Да нет, знаешь, не думаю, чтобы я сорвался. Не знаю, кем бы я стал, если бы не война — отличная характеристика нашей цивилизации, — но думаю, я не мог “плохо кончить”, то есть стать сутенером или грабителем. Но опасность и правда была, согласен. Выход из отрочества

был самым “скользким” периодом в моей жизни. Я мог стать кем угодно. На самом деле, знаешь, я нисколько не рисковал. Я колебался, но у меня был центр тяжести, у меня был внутренний свидетель: моя мать. Но как раз из-за матери и случались моменты...

Ф.Б. *Азов.*

Р.Г. Азовым его не называли. В Ницце среди русских его звали Заразов.

Ф.Б. *В Ницце в тридцатые годы было десять тысяч русских.*

Р.Г. И это прозвище происходило от русского слова “зараза”. Он был жутким мерзавцем, ростовщиком, он выжимал из моей матери все соки и одалживал ей деньги под двадцать процентов. Я его не убивал.

Ф.Б. *Тебя трижды допрашивала полиция...*

Р.Г. Разумеется, ведь неделей раньше я набил ему морду — он заявился к нам и, схватив мою мать за горло, стал требовать у нее свои два-

дцать процентов. Несколько лет назад один “очень порядочный” господин пришел ко мне с предложением доверить ему мои гонорары, он собирался вложить их под двадцать процентов. Ему я тоже набил морду. Ну а Заразову я тогда сказал, что в следующий раз, и так далее и тому подобное... И поскольку нашлись свидетели, а я был не очень популярен в квартале, потому что мать отправляла меня бить морду то одному, то другому, кто ее “оскорбил”...

Ф.Б. *Знаешь, есть срок давности.*

Р.Г. Но не для рук. Руки все помнят. Во всяком случае, мои. А в тот день меня даже не было в Ницце. Я уехал в Грасс на чемпионат по пинг-понгу. Я даже помню фамилию своего противника в финале: Дормуа. Но тогда на юге Франции я был как какой-нибудь алжирец сегодня, сразу же подумали на меня. Со мной в Грассе в тот день был десяток приятелей, которые меня видели. Это не я его прирезал. Но признаюсь, я был “на грани”, подростки часто бывают “на грани”, а особенно сегодня, потому что у них больше жизненных сил, чем жиз-

ни, больше жизненных сил, чем возможностей выразить себя в жизни и через жизнь, что и приводит к маю 68-го, или к наркотикам, или к уголовщине, или они становятся старичками в двадцать лет. Меня подстерегали разные опасности. Например, в ту пору я сопровождал в качестве гида автобусы с туристами. Их всегда тянуло в бордель. Так что нужно было везти их в “Ферию” на улицу Сен-Мишель. А в “Ферии” был кинозал, где показывали порнуху. И бандерша предлагала нам процент со всех клиентов, которых я привел бы в порнозал... А мне было всего семнадцать... И были шлюхи, которым хотелось поиграть со мной в “мамочку” и которые хотели поддержать меня на праведном пути, засовывая мне в карманы по пятьдесят франков... Я всегда отказывался, мать бы меня убила.

Ф.Б. *Она бы ничего не узнала.*

Р.Г. Та, что внутри меня самого, узнала бы. Я носил ее в себе. Полагаю, именно это и называется “мать-захватчица”, “мать-тиран”. Я всегда носил в себе такого свидетеля и сейчас еще ношу. Подростки становятся хулиганами, пото-

му что у них нет свидетелей. Отцам и матерям на них наплевать, или у них вообще нет ни отца ни матери. Без внутреннего свидетеля можно делать что угодно. Большинство несовершеннолетних преступников сегодня — мальчишки, у которых нет пристанища, нет уголка, где их знают, где на них смотрят булочник, бакалейщик, угольщик, у них нет точки отсчета, нет центра тяжести, нет свидетелей, и вот можно вытворять все, что угодно, нет образца для подражания, это пустота, и тогда все позволено.

Ф.Б. *Твоя мать ощущала опасность?*

Р.Г. Временами — да, на нее находил страх. Она орала. И напрасно, это было лишнее, потому что она уже поселилась во мне и жила там как дома. Вот тебе пример. Маргарита Лаэ научила меня танцевать. Тогда на пляже был один перуанец, Чикито. Ну, в общем, мы его так называли. Он отвел меня в “Пале де ля Медитерране”, где требовались жиголо, чтобы танцевать со зрелыми дамами. Ты, с густо напояженными волосами, усаживаешься за столик с такими же профессиональными танцовщица-

ми. Мужья присылают за тобой официантов. Ты танцуешь с женой, и муж всучивает тебе чаевые. Можно было заработать пятьдесят франков за один, как тогда говорили, “чай с танцами”. Моя мать прознала про это и разоралась — выдала свой коронный номер по полной программе. И зря, потому что я этим не занимался. Как только я узнал, что надо мазать волосы помадой, я сказал “нет”. Мне всегда было противно втирать что-то в волосы, не знаю почему, может, потому что Эдип был лысым. Порой мужья вроде бы даже приглашали жиголо домой, а сами смотрели. Вот в это я уж никак не могу поверить. Тридцатые годы были очень старомодными по сравнению с тем, что происходит сейчас. И скатиться по наклонной плоскости я рисковал не столько в Ницце, сколько в Париже: там я, в принципе, был предоставлен самому себе. Но это не так: мать по-прежнему была внутри меня, она не сводила с меня глаз. А в Париже в тридцатые “алжирцу” — тогда говорили “чурке” — без гроша в кармане было паршиво. Не знаю, помнишь ли ты Брэдли. Нет? Так вот, это был американец, из молодых, да ранний, “потерянный” уже в 1934 году. В Париже на улице Рол-

лен в отеле “Европа” обитал английский художник Ян Петерсен, который иногда приглашал меня поесть и всякий раз предостерегал в отношении Брэдли. Родители отказались помогать тому деньгами, и он нашел для себя выход. В ту пору на улице Миромений находилась некий особый бордель. Там обслуживали женщин. Иногда они приходили со своими мужьями. Таким способом Брэдли зарабатывал по две тысячи франков в месяц. Он пришел ко мне и предложил эту работенку. Я стукнул его бутылкой по голове. Мне было обидно до слез — ведь если он осмелился предложить мне такое, значит, это было видно... Я хочу сказать, ему было видно, что я в отчаянном положении. Его предложение подчеркивало, в каком аховом положении я оказался: “алжирец” двадцати одного года, в Париже, один, без друзей. Это тогда твои родители приглашали меня и подкармливали. Я разрыдался — кажется, я никогда в жизни так не рыдал, — и если я отреагировал с такой яростью — я готов был его убить, — то потому, что меня это искушало. Я сам себе в этом не признавался, но меня это искушало. Понимаешь, я с ума сходил от желания, а подружки у меня не бы-

ло, глухо. Меня просто распирало. В ту пору одна лишь мысль, что есть средство избавиться от того, что не дает жить, была манящей. Потому что, по словам Брэдли, эти женщины совсем не обязательно были старыми и безобразными, — нередко попадались красивые и порочные, или порочными были их мужья. Так что, сам понимаешь... сам понимаешь... Мне двадцать один год, я дурею от похоти, там дожидаются женщины, и вдобавок за это платят. Но дело было еще и в другом. Есть, особенно у молодых, потребность ощущать себя *мачо*. Хочется быть крутым, настоящим, железным, всем говорить: “Я не только ее трахнул, она еще и заплатила мне!”, хочется сказать обществу “на-кося! выкуси!”, плюнуть в лицо этому обществу, отвергнуть его законы, его “честь”. Тут всего понамешано. Ты выброшен из жизни. Ты весь — это только твой пенис плюс беспросветное отчаяние. Единственное, в чем ты уверен, что действует, что не отпускает тебя, — это эрекция. Все вокруг — тревога, страх, лишь одна она — достоверность. И если у тебя нет внутреннего свидетеля, ты пропал. Вот почему нет прощения старым педрилам и растлителям маленьких девочек, кото-

рые развращают детей, заманивая их деньгами, шмотками, жратвой, тачками. Это все равно что торговля наркотиками, даже без наркотиков... Секс не подпадает под моральные оценки, но не тогда, когда пользуется нищетой и растерянностью. Ну так вот, я вырубил Брэдли, и меня забрали легавые, а вызволил меня Гликсман-старший, находившийся в Париже проездом. Он тогда был почетным консулом Польши в Ницце и имел вес. Я вернулся к себе на улицу Роллен и проплакал сутки. Мне ужасно хотелось пойти в этот бордель: не ради денег, а просто чтобы потрахаться. Мерзавец Брэдли во всех красках расписал мне этих прекрасных надушенных пантер, а я волком был без женщины. Можешь быть спокоен, если бы не это недремлющее око, которое всегда смотрело на меня и всегда будет смотреть, я бы туда пошел, и не знаю, что бы из меня потом получилось, потому что я бы никогда себе этого не простил. Я бы стал относиться к себе как к мрази. А если ты относишься к себе как к подонку, ты наверняка им и становишься.

Ф.Б. *А банк?*

Р.Г. Нет, это не я, это Эдмон. Он хотел ограбить банк. Я сразу же сказал “нет”. Он соорудил себе целый маскарадный костюм и даже подошел ко мне на бульваре Монпарнас и попросил огоньку. Я его не узнал. Но он не смог проверить это дело, потому что так и не смог найти банк, который был бы расположен так, чтобы все прошло как надо и на сто процентов безопасно. Эдмон относился к тому типу авантюристов, которые хотят стопроцентной безопасности: по-моему, ему только безопасность и была нужна. Как тебе известно, он стал высокопоставленным чиновником в Соединенных Штатах и сейчас весит сто двадцать кило, у него пятеро детей, которых он воспитал в христианском духе, а выйдя в отставку и покинув Госдепартамент, стал преподавать философию в одном из университетов. А что еще, по-твоему, он может преподавать?

Ф.Б. *И ты ни разу не “оступился”, не сорвался? Не крал?*

Р.Г. Только жратву. Но уж зато ее — без зазрения совести, с легкостью, с полным ощущением собственной правоты. Мораль всегда на сто-

роне голодного человека, который ест. Деньги у меня заканчивались дней за десять до конца месяца. Я воровал круассаны в кафе “Капулад”, а сэндвичи с ветчиной в “Бальзаре”. У них тогда сэндвичи лежали совсем рядом с кассой, на стойке, что весьма удобно. Сэндвичи были превосходные, лучшие в Латинском квартале. Я попробовал и в других местах — в “Ля Сурс”, в “Клюни”, всюду понемножку, где можно было подобраться к сэндвичам, но лучшие были в “Бальзаре”, и я оставался их клиентом целый год. Управляющим там работал молодой человек по имени Роже Казес. Теперь он хозяин “Липпа”, где я часто обедаю, когда бываю в Париже. Я возвращаю ему долг. Кстати, его наградили Академической пальмовой ветвью¹. Да, воровать я мог только жратву, да и сейчас тоже, а ведь я — командор ордена Почетного легиона... это хорошее прикрытие. Но я не остепенился.

Ф.Б. *Твое “я не остепенился” — это вызов. Я бы даже сказал, это политика...*

1 Орден Академической пальмовой ветви дается за заслуги в области литературы и искусства.

Р. Г. Не надо обобщать. Я не думаю, например, что коррупция представляет угрозу для капиталистической или советской системы. Скажу даже больше: я считаю, что без нее они бы не развивались. Думаю, что если бы капиталистическая и советская системы были “чисты”, они бы давным-давно рухнули. Коррупция — это жалкий, но неизбежный амортизатор бюрократии как на Западе, так и в странах народной демократии. Если бы не существовало взяточничества, бюрократия застопорила бы все возможности развития. Не будь жульничества, нормальные бюрократические сроки сделали бы систему недействительной. Коррупция — это плата за беспредел. Ленин это отлично понял с нэпом: он легализовал махинации, “частный сектор”. Истинные большевики, которых казнил Сталин, не были продажными, поэтому, очевидно, привели бы советскую систему к гибели. Если бы Сталин не был извращенцем до мозга костей, если бы он не погубил коммунистический идеал резней, “чистками” и концлагерями, система бы, вероятно, рухнула сама. Сталин, возможно, спас советскую державу посредством коррупции коммунизма. Хочешь еще одно доказательство? Я видел в странах на-

родной демократии плакаты “Кто не работает, тот не ест”. Но единственное, к чему привело стахановское движение и такая концепция труда, это самый высокий в мире уровень прогулов. “Железная дисциплина” смягчается отсутствием на рабочих местах самих рабочих. Коррупция не представляет угрозы для капитализма: он продлевает свое существование при помощи коррупции, благодаря ей дела делаются, заказы заказываются, недвижимость движется, полная занятость дает навар, а банки могут делать то же самое, что и “Гаранти фонсьер”¹, только более ловко. Без коррупции не было бы прироста. Будь Альенде коррумпирован, он до сих пор стоял бы у власти. Вот почему социалистам так туго приходится в мире: в социалистическом идеале есть та доля поэзии, “доля Рембо”, без которой нет цивилизации, нет человека и никогда бы не было Франции, Жанны д’Арк, де Голля и компании; но поскольку эта доля поэзии есть идеализм и лирика, то она исключает коррупцию, и социалисты регулярно разбивают себе морду о собствен-

1 “Гаранти фонсьер” — французское кредитное общество, скандально известное финансовыми злоупотреблениями в начале 70-х гг.

ную честность. Соединенные Штаты сейчас — это страна, в которой коррупция создала необыкновенное материальное процветание. Вот почему все могущество там в руках адвокатов: цель — контролировать закон *легальным путем*, установить паралегальное общество, которое полностью размещается в дырах, специально обустроенных для этого законом. Я говорю не только о нефтепромышленниках из Техаса и прочих мест, освобожденных от налогов, я говорю о системе *в целом*. Я однажды спросил одного американского миллиардера, согласится ли он платить пятнадцатипроцентный налог, и он мне с лучезарной улыбкой ответил, что нет, потому что с помощью всевозможных “обществ и компаний” он платит куда меньше пятнадцати процентов. Очевидно, что общество, которое постоянно нуждается в адвокатах, как в Америке, — это общество, в котором сами законы предусматривают некий запас легальной коррупции. Вице-президент Агню был смещен, потому что брал взятки, так что можешь себе представить, что происходит в Штатах на более скромных политических и административных должностях. Все действующие лица “Уотергейта” — адвокаты.

Знаешь, почему ведется столь яростная атака на Никсона? Потому что хотят доказать, что единственный продажный человек — это он, что американское общество тут ни при чем. Гонорары американских адвокатов превосходят все мыслимые пределы и исчисляются миллионами долларов, интеллектуальная нечестность проникает даже в язык, даже в нормы французского языка. Когда такой человек, как Жиска́р д'Э́стен, говорит, что отныне *треть* авансового платежа по налогу будет равна *сорока трем процентам*, это не что иное, как коррупция французского языка. Когда так говорят со страной, ее надувают. Мне кажется, что в жизни политической системы — к примеру, в СССР или во Франции времен оккупации, или перед лицом бюрократического бреда, — наступает момент, когда коррупция становится здоровым защитным рефлексом народа, когда она становится честнее системы. Системы сегодня обладают такой сокрушительной мощью, перед которой человек абсолютно беззащитен — а это измена любому социальному идеалу, — и в результате коррупция становится единственным доступным человеку шансом.

Ф.Б. *Говорят, это пока еще не касается Китая...*

Р.Г. Я тоже знаю одну настоящую девственницу...

Ф.Б. *Китай тебя смущает, да?*

Р.Г. Отнюдь. На мой взгляд, коммунизм был гигантским прогрессом для Китая. Но поскольку вопрос о коммунизме наверняка будет постоянно возникать в нашем разговоре, я хочу расставить точки над “i”. Что важно в обществе — для меня, — так это его себестоимость, выраженная в человеческом страдании. Не маоисты заставили Китай заплатить эту цену, а век, который им предшествовал. Если знаешь, каков был Китай на протяжении ста лет до этого, то ясно, что цена была заплачена задолго до Мао, что Китай получил свой коммунизм почти даром в сравнении с той ценой, которую он платил за капитализм в течение столетия. Китайский народ провернул выгодное дельце, на данный момент. Продолжение следует.

Ф.Б. *В “Повинной голове” ты говорил о Китае не так отстраненно, когда речь шла о насилии и попытках “культурной революции”...*

Р.Г. Я просто сделал еще один шаг в том же направлении, вот и все. Раз китайцы объявляют о своем намерении построить новую цивилизацию после того, как разрушат прежнюю — цивилизацию Конфуция, судя по всему, — что они уже благополучно и сделали, значит, они признают, что на данный момент вообще не имеют цивилизации. Следовательно, то, что мы видим, это только приготовления. Мгновенная цивилизация, построенная за тридцать лет и защищенная от “ревизионизма”, — такого не существует, это исключает будущее, это из области прорицаний. Если китайцы берутся строить новую цивилизацию, то лишь потому, что ни они, ни кто-либо другой не знают, что из этого получится. Это непредсказуемо. *Этого нет.* Летающая тарелка. Нужно подождать, пока она приземлится. Вот почему я не очень склонен критиковать Китай. Сейчас они едят досыта и не умирают от эпидемий. В Германии тоже. Это немало по сравнению с прошлым, но ничего не говорит о будущем.

Ф.Б. *Мы часто виделись с тобой в Париже в 1935–1937 годах в отеле “Европа” на улице Роллен. Когда ты не мчался на поиски ста су, ты*

в своей крохотной комнатенке писал романы. Издатели отвергали твои рукописи как “слишком жестокие, патологические и непристойные”. Именно так ответили тебе тогда “Галлимар” и “Деноэль”... Я нередко видел тебя в отчаянии, готовым на все, как мне казалось. Мои родители очень любили тебя и беспокоились. Иногда ты приходил к ним, когда уже совсем не знал, куда приткнуться...

Р.Г. Я никогда не забуду твоих родителей. Они обращались со мной как с равным, без капли снисходительности.

Ф.Б. *Иногда ты пропадал. Это было смутное время в твоей жизни. Так что ж, на самом деле... ни одного низкого поступка?*

Р.Г. Был. Один. Никаких налетов, сутенерства. Совсем из другой оперы. Я сменил уж не знаю сколько профессий, одна глупее другой, но я выжил. Единственная работа, от которой я чуть было не свихнулся, это когда нужно было писать от руки адреса на конвертах для торговых фирм. Я вкалывал по пять-шесть часов в день, и эта каллиграфия настолько противоре-

чила моему темпераменту, что я порой кончал в штаны от нервного возбуждения. Да, я совершил низкий поступок. У меня были оправдания, но не в глазах моего внутреннего свидетеля — который никогда об этом не узнал, но с тех пор непрестанно заставляет меня из-за этого краснеть.

Ф.Б. *Ну и?..*

Р.Г. Эта история не связана с деньгами. Впрочем, не понимаю, чем она может быть интересна... Знаешь, бывают вещи, совсем ничтожные, которые становятся для тебя важными с возрастом... То, что я об этом рассказываю, может показаться совершеннейшим идиотизмом... Времена суровы.

Ф.Б. *Нам не стоило встречаться, раз заходит речь о том, что есть “ничтожные вещи, которые”...*

Р.Г. Я говорю об этой девушке из “Обещания на рассвете”. Ее звали Франсуаза. Говорить-то я о ней говорил, но вот сказал не все: мое “я” еще почитало себя самое. Так вот, этой краси-

вой брюнетке пришла в голову мысль — показавшаяся мне в то время ошеломляющей — “отдаться мне”, кажется, это выражение до сих пор еще в ходу. Мы встретились с ней на улице Муфтар, когда я был чем-то вроде нынешнего алжирца, только без нефтяного престижа. Она “отдалась” мне. Это было совершенно неожиданно и шиворот-навыворот со всех точек зрения, потому что я был влюблен не в нее, а в ее сестру, которая так об этом и не догадалась. Сестру звали Анриетта, она была светловолосая, с маленьким, почти прозрачным лицом в стиле миледи и дамы с камелиями, а на нем выступающие скулы и губы, казавшиеся совсем одинокими, ярко-красными на фоне всей этой бледности, как бы потерянными, — хотелось лететь им на помощь. Светлые волосы, мечтательные ореховые глаза — полная противоположность сестре. Она отличалась некой хрупкостью, которая вызывает желание грубо ворваться в нее, той разновидностью хрупкости, которая порой сопровождается особенно удачными подвигами в постели, но с виду не подумаешь. Я запал на нее в Ницце, еще до выпускных экзаменов в лицее; она приходила в муници-

пальную библиотеку в ярко-красном свитере и темно-синей юбке, и ее грудки, которые... ее грудки, о которых... на которые... прошло сорок лет, а я все еще помню, какие они там были под этим ярко-красным свитером ручной вязки, и мне хочется поздороваться с одной и с другой. Но на меня клюнула ее сестра, а дар свыше не обсуждается. Затем, благодаря Франсуазе, я познакомился с Анриеттой. Разумеется, тут уж было ничего не поделать, сестры обожали друг друга, да и потом, такое все равно было недоступно, это было не для меня, знаешь, когда хочешь слишком сильно, ты ведь отдаляешь, возвышаешь, идеализируешь, не осмеливаешься. Недоступное — мы часто творим его сами. Я частенько болтал с Анриеттой, поджидая ее сестру. Я заставлял ее лежащей на диване, возле окна, с грелкой: у нее был колибациллез. Она обладала чудесным даром напускать на себя таинственный вид. После войны она посмотрела на меня один раз. По-моему, он и правда был единственным. Я пришел повидаться с ее сестрой, которая заявила о своем намерении простить меня. Это было неправдой, но она меня вызвала. Дверь оставалась чуть приоткрытой, а

Анриетта шла по коридору; она остановилась и смотрела на меня в просвет в дверях, не входя. Довольно долго. Я был доволен. Это был мой реванш. Я встретил ее полтора года назад на улице Бак, и она еще раз на меня посмотрела, но я сделал вид, что не узнаю ее. Ей, наверное, было уже лет шестьдесят, но она все еще выглядела безупречно. Бывают хрупкие создания с камелиями, полупрозрачные и мимолетные, которые сотворены из стали. Очень красивая. Желанные шестидесятилетние женщины встречаются не так часто, из-за обычаев, которым они подчиняются, и потому что нужно много денег, чтобы следить за собой. Но Анриетта на улице Бак, исполнилось ей шестьдесят или нет, была такой же, как в Латинском квартале, когда ей было двадцать два, и я притворился, что не вижу ее. Она до сих пор действует на меня все так же — внушает робость. Я рассказываю тебе об этом, чтобы показать, как мы проходим мимо. Здесь же речь идет о Франсуазе, поскольку мы говорим о моей низости, а не о моей дурости. Когда она пришла ко мне в студенческую комнату и у нас это все произошло, я уже два дня как ничего не ел. Это был конец месяца.